

Михаил Арцыбашев

Повести и рассказы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
А88

А88 **Арцыбашев М.**
Повести и рассказы / Михаил Арцыбашев – М.: Книга по Требованию, 2012. –
256 с.

ISBN 978-5-4241-1350-5

Михаил Арцыбашев - один из самых популярных беллетристов начала XX века, чье творчество многие годы подвергалось жестокой критике и лишь сравнительно недавно получило заслуженное признание.

ISBN 978-5-4241-1350-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Михаил Арцыбашев
Повести и рассказы

Паша Туманов

I

Перед закрытой желтой дверью приемной полицмейстера, в маленькой грязной передней с давно не крашенным полом, опершись спиной о вешалку, стоял рябой малорослый полицейский солдат в перепачканном пухом и мылом и разорванном под мышкой мундире.

Вид у этого солдата был самый смиренный и глупый, но это не помешало ему изобразить на своей физиономии начальственную строгость, когда в переднюю вошел посторонний.

Этот посторонний, попавший в комнату, куда посторонним вход строго воспрещается иначе как в указанное, от двенадцати до трех часов, время, был юноша в худой гимназической шинели и такой же фуражке. Роста он был среднего, большеголовый, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом; на щеках и верхней губе его вполне ясно обозначался неровный пух усов и бороды. Он был красен и, видимо, возбужден.

Вошел он очень быстро, точно за ним кто гнался, и, войдя, сейчас же снял шапку.

– Здесь приемная полицмейстера? – спросил он так громко, как будто давно приготовил этот вопрос в такой именно громкой и решительной форме.

– Здеся, – ответил солдат, с видимым неудовольствием покидая свое занятие и отделяясь от вешалки.

«И чего шляются, – подумал он, – сказано: от двенадцати до трех, ну и нечего... только народ беспокоят!...»

– Сюда пройти? – так же громко и решительно спросил гимназист, делая движение к запертой двери приемной.

– Сюда. Да только они не принимают, – ответил солдат, загораживая дверь.

– Мне нужно.

– Пожалте от двенадцати до трех, – равнодушно сказал солдат и потянулся рукой к своему носу.

– Мне сейчас нужно.

– Не приказано пущать.

Гимназист как-то весь осел и замялся, обескураженный этим ничтожным и неожиданным препятствием, сбивавшим его с того торжественного, важного и печального пути, который представлялся ему, когда он ехал сюда. Этот равнодушный и неряшливый солдат так не вязался с его представлением, что одну секунду он едва не вышел из передней. Но в дверях остановился, побагровел и выпалил:

– Мне надо заявление: я человека убил!

– Чего-с? – глупо спросил солдат.

И гимназист молчал и смотрел на солдата, и солдат, выпучив глаза и глупо ухмыляясь, смотрел на него.

– Пожалте... – наконец сказал солдат, сомнительно качнув головой, толкнул дверь в приемную и посторонился.

Гимназист надел зачем-то фуражку, но сейчас же снял ее и вошел. Солдат

тупо поглядел ему в спину.

II

В большой светлой комнате, украшенной портретами лиц царской фамилии, находились в это время четыре человека: сам полицмейстер, видный, представительный мужчина с большими усами и перстнями на пальцах, его помощник, толстый человек с большим животом и багровой физиономией, с грузом ворочающейся на короткой шее без кадыка, и пристав, высокий, худой, чахоточный, на узких плечах которого мундир и шашка висели как на вешалке. Четвертый был господин в вицмундире с форменными пуговицами, с большой рыжей бородой и синими очками на кончике толстого угреватого носа. Он перебирал бумаги на столе у самого окна, стоя и через плечо прислушиваясь к тому, что говорил полицмейстер.

А полицмейстер, сидевший лицом к входной двери, облокотясь обеими руками на стол, покрытый зеленым сукном, рассказывал, смеясь и жестикулируя, как дочь одного часового мастера-еврея, захваченная облавой на проститутток, несмотря на уверения отца, что она «еще совсем дитю», оказалась беременной.

– Ха-ха-ха, совсем дитю! – беззаботно смеялся полицмейстер, и его здоровый корпус, туго затянутый в полицейский мундир, колыхался во все стороны.

Помощник, который вообще никогда ничего не чувствовал, кроме своей толщины, страдал от жары и скуки, хотя и улыбался, когда смеялся полицмейстер.

Пристав как палка стоял перед ними и тоже улыбался, хотя ему было тяжело стоять, потому что он был слабый и больной человек. Он смотрел на здорового, сильного, вкусно смеющегося полицмейстера, перед которым должен был стоять, с ненавистью и злобой, не смея, конечно, прервать его никому не нужную, праздную болтовню напоминанием о принесенной им срочной бумаге.

Секретарь же, который терпеть не мог полицмейстера за его грубость и бурбонство, слушал его с наслаждением, потому что сегодня узнал из верных уст, что конец полицмейстерской карьеры близок. Об этом ему говорили в канцелярии губернатора, как о решенном деле, тогда как сам полицмейстер, очевидно, ничего не подозревал.

«Не смеялся бы ты, если б знал!» – злорадно думал секретарь.

Когда вошел гимназист, все сразу повернули к нему головы, и полицмейстер замолчал на половине фразы.

Гимназист как вошел, так и стал посреди комнаты, торопливо вытаскивая что-то из кармана шинели, что цеплялось там и упорно не хотело вылезать на свет.

Пристав счел своим долгом подойти и опросить его, а так как то же думал и секретарь, то они оба разом спросили:

– Что вам угодно?

Но гимназист молчал и растерянно поглядывал то на одного, то на другого, продолжая тащить что-то из кармана. Оттуда посыпались крошки, должно быть пирожного. Гимназист сопел и краснел, лицо у него сделалось жалкое, беспомощное, шея вспотела.

Пристав, изогнув, как дятел, голову набок, заглянул одним глазом ему в карман и что-то хотел спросить, но в это время гимназист, совсем выворотив карман, вытащил, наконец, маленький блестящий револьвер и подал его почему-то прямо полицмейстеру. Тот невольно протянул руку и взял.

– Я директора убил, – вдруг заявил гимназист жидким, заплетающимся голо-
сом.

– Как-с? – спросил полицмейстер, высоко поднимая брови.

– Кого? – произнес и его толстый помощник, на жирном лице которого по-
явился испуг.

– Директора... Владимира Степановича... – совсем упавшим голосом повто-
рил гимназист.

– Вознесенского? Владимира Степановича? – воскликнул полицмейстер.

– Да, – прошептал гимназист.

Тогда все сразу задвигались, заговорили и засуетились. Полицмейстер начал прицеплять шашку, путая португеею; пристав побежал рысью приказать подать дрожки; помощник ужасался и искал шапку, и все что-то кричали, перебивая друг друга и совершение позабыв о виновнике происшествия. Уже уходя, полицмейстер вспомнил о нем и обратился к нему негодующим тоном:

– Да вы кто такой?

Гимназист не отвечал. Он, очевидно, не особенно хорошо сознавал, что с ним произошло, и бессмысленно мямлил фуражку своими потными ладонями.

Пристав подскочил к нему и прошипел ему почти в ухо:

– Кто такой?

– Павел Туманов... шестого класса... – машинально ответил гимназист, по-
ворачиваясь прямо к нему, отчего пристав даже немного сконфузился и сделал
рукой такое движение, будто почтительно направлял ответ в сторону полицмей-
стера.

– Надо ехать, – взволнованно проговорил полицмейстер.

– Какое несчастье! Матвей Иванович, – обратился он к помощнику, – вы со
мной?

– Да, да, – запыхтел помощник, торопливо берясь за фуражку.

– Виктор Александрович, – почтительно остановил полицмейстера пристав, –
а как же с ними? – он кивнул в сторону гимназиста.

– А, да... задержать здесь до моего возвращения.

– А револьверчик?

– А, да... как же, как же, – вещественное доказательство... спрячьте! Да вы
со мной поедете, а этого... Андрей Семенович, распорядится. Распорядитесь,
Андрей Семенович!.. – кинул полицмейстер, исчезая в дверях.

– Хорошо-с, – хмуро ответил секретарь, не двигаясь с места.

Пристав просительно кивнул ему и тоже убежал. Через минуту под окнами
прогремели одна за другой две пролетки, уносившие полицейские власти на
место преступления.

III

В приемной остались секретарь за своим столом и гимназист, все еще с вы-
вороченным карманом стоявший посреди комнаты. В открытую дверь загляды-
вали уже прослышавшие о происшествии писцы и городовые, любопытно
оглядывая гимназиста.

Секретарь чувствовал себя неловко. Он зачем-то, ступая почти на цыпочках,
прошел через комнату, запер дверь, любопытным погрозил пальцем и, возвраща-
ясь на свое место, пробормотал:

– Садитесь... что же вы стоите...

Гимназист машинально отошел к стенке и сел на стул, не переставая мять потными ладонями свою фуражку.

Секретарь тихо уселся на свое место. Ему было жаль мальчика, и ему как-то не верилось, что перед ним – убийца. Он притворился, что не обращает на гимназиста никакого внимания, и усердно стал шуршать бумагой, только изредка с любопытством кидая быстрые взгляды на неподвижно сидевшего преступника.

Паша Туманов сидел под самым окном в неудобной, напряженной позе и не шевелился, крепко сжав губы и сопя носом. Он смотрел в одну точку – на рассыпанные им на пол крошки пирожного – и чувствовал мучительное желание их убрать: ему казалось, что они нестерпимо резко видны на желтом, чисто вымытом полу и имеют какое-то отношение к тому, что случилось.

Но ему только казалось, что именно эти крошки возбуждают в нем такое тяжелое желание; на самом деле его мучила потребность убрать куда-нибудь то безобразное и нелепое, что случилось с ним в это утро и острым клином торчало теперь в его жизни, уродуя и коверкая ее. На него нашло какое-то мертвенное оупение. Он даже не мог отдать себе ясного отчета в том, каким образом началось, продолжалось и окончилось «это» и как он очутился здесь и зачем сидит в большой пустой комнате, в присутствии большого, бородатого, в синих очках господина, шелестящего бумагой. Порой ему казалось, что надо встать и уйти, и тогда все это просто кончится и окажется каким-то пустяком, даже веселым и юмористичным... но сейчас же все обрывалось и сбивалось в беспорядочную массу каких-то картин, обрывков слов и красных пятен, которые начинали расплываться, расширяться и, наконец, заливали все багровой мутью, где прыгали какие-то знакомые, но ужасные лица.

Тогда Паша Туманов встряхивался где-то внутри себя и на мгновение опять видел большие светлые окна, силуэт бородатой головы и слышал короткий шелест бумаги.

Это было состояние, близкое к бреду.

Среди бесформенного хаоса, расплывчатого, тяжелого, Паша Туманов чувствовал, что видит что-то, что надо сейчас же сделать: что-то очень важное, имеющее решающее значение, но что именно, он не мог отдать себе отчета, и это начинало мучить его так, что крошки на полу стали казаться пустяком. Он сделал усилие и поймал...

Это оказалось вывороченным карманом шинели.

Паша Туманов положил фуражку возле себя на стул и старательно вправил карман на место, причем рука его нащупала в нем еще несколько кусочков раздавленного пирожка, который ему дали, когда он утром выходил из дому.

И вдруг ему стало чего-то ужасно жалко, и сам он стал в своем представлении маленьким-маленьким.

Паша Туманов заплакал, сначала тихо, а потом все громче и громче.

Секретарь испугался. Он вскочил, уронил перо и, налив в стакан воды из стоявшего на окне графина, поднес ее Паше. Но Паша Туманов не пил и рыдал, захлебываясь и трясясь, как в лихорадке.

– Ну, ну, полно, что вы... пустяки... это ничего... выпейте воды... – бормотал испуганный секретарь и вдруг, повинувшись непонятному ему светлому движению души, неожиданно для самого себя, погладил Пашу по голове и пробормотал: –

Бедный мальчик!

Паша услышал это жалкое слово, и плач его перешел в истерические рыдания. Ему показалось, что на всем свете нет человека, который пожалел бы его, кроме этого секретаря. И Паша Туманов, уткнувшись головой в жилет секретаря и больно царапая нос о форменную пуговку, зарыдал еще больше.

Секретарь беспомощно оглядывался вокруг.

IV

Накануне этого дня, около двенадцати часов ночи, Паша Туманов лежал на старом диванчике, который служил ему постелью, и, положив под голову помятую подушку, от которой ему было жарко и неудобно, глядел внимательно и напряженно, как лампа мягко и ровно светила со стола из-под толстого зеленого абажура. На столе ярко были освещены книги и тетради, красная ручка резко торчала из чернильницы; ближе к Паше чернел силуэт спинки стула, а возле него все мягко ступшеывалось в зеленоватом полусумраке.

Паша Туманов лежал, тупо и неподвижно уставясь в одну точку, хотя и знал, что каждый час дорог. Он лег с отчаяния, когда убедился, что усилия его в два три дня пополнить все, упущенное за семь лет, ни к чему не приведут, и теперь не чувствовал силы вновь приняться за долбежку.

Почему так много, неопределенно много было упущено, Паша не знал. Отчасти это случилось по лени, отчасти по обстоятельствам, от Паши не зависящим, а главным образом оттого, что настоящая, действительная жизнь целиком захватывала своими интересами живого Пашу Туманова, а эта жизнь шла далеко в стороне от мертвой, неподвижной гимназии.

Когда Паша окончательно понял истинное положение дела и убедился, что не может обмануть самого себя относительно его безнадежности, им овладело тупое отчаяние, граничащее с апатией. Он отошел от стола, даже не закрыв книги, лег на диван и чувствовал всем существом своим, что он глубоко несчастен. Одновременно с чувством жалости к себе у него закипало и глухое озлобление против людей, которых он считал виновными в своем несчастье, – против директора гимназии и преподавателя латинского языка. Он ошибался: причины его несчастья заключались вовсе не в этих двух чиновниках министерства народного просвещения, не в их относительных достоинствах и недостатках, как преподавателей, людей и чиновников, а в том противоестественном положении вещей, по которому двадцатилетнего юношу, жаждущего смысла и интереса в жизни, заставляли зубрить неинтересные, лишённые жизненного смысла учебники и, наоборот, лишали того, чего он в течение всей юности добивался. Тем не менее Паша Туманов именно директора и учителя Александровича считал причиной того, что он несчастен, а завтра, наверное, будет еще несчастнее. Чувство озлобления, тяжелого для его доброго и мягкого сердца, все усиливалось и доходило минутами до того безобразного кошмара, в котором человек с мучительным наслаждением, свойственным только больному организму, припоминает какие-нибудь ничтожные подробности – вроде походки, голоса, манеры говорить – человека, кажущегося ему врагом, и находит эти подробности до того противными, мерзкими, что мысленно плюет на них, топчет их и издевается над ними.

Паша стал задыхаться в удушливой атмосфере своего озлобления. Ему казалось, что даже огонь лампы упал и стал каким-то тяжелым, зловещим; а шум в

ушах превращался то в глухой шепот за стеной, то в уныло доносящуюся откуда-то издалека тягучую песню ненависти и тоски. Паша понимал, что надо стряхнуть с себя это тягостное состояние, но тупая и вялая безнадежность пересиливала его волю, и он продолжал неподвижно лежать и страдать нравственно и физически.

У него заболела голова.

Дверь в комнату тихо и осторожно отворилась: послышался веселый смех и другие резкие и отчетливые живые звуки из третьей комнаты, где сидели сестры Паши и прислуга накрывала на стол, стуча тарелками и бряцая ножами.

Вошла мать Паши, Анна Ивановна, вдова полковника, живущая на пенсию и на какое-то вспомоществование, откуда-то выдаваемое на воспитание детей. Она была заморенная, бессильная женщина, с тихим голосом, большим запасом бесхарактерной доброты и вялым, преждевременно состарившимся лицом. Она тихо прошла по комнате, потрогала лоб Паши теплой мягкой рукой и села возле стола.

– Пойдем ужинать. Устал?

Из того, что она села, позвав его ужинать, и по знакомому ему, немного жалкому и боязливому выражению спрашивающих глаз Паша понял, что ей нужно. Но так как ему было тяжело лгать, а правду сказать он не мог, то Паша промолчал и только кивнул головой на вопрос матери об усталости.

Анна Ивановна сидела у стола, перебирая пальцами листы книги и понурился голову, и грустно думала о том, как дети вообще жестокосердны и неспособны понимать заботы родителей. Ей казалось, что, если бы Паша понял, как она страдает и боится за него, он сейчас же начал бы хорошо учиться и вышел бы в люди.

А Паша смотрел на нее искоса и думал почти то же: что мать его жестока и неспособна понять, как трудно и скучно учиться, и что он, Паша, все-таки прекрасный, добрый мальчик, несмотря на то, что не может выдержать экзамена. Ему хотелось пожаловаться матери на то, как ему тяжело и как злы учителя, которые, по его мнению, одни были виноваты в его несчастье, потому что и они, и никто не потерял бы ничего, если бы они поставили ему не единицу, а четыре или хоть три. Но Паша чувствовал, что мать, несмотря на свою доброту, неспособна понять его и не поверить в злобу учителей. А потому и к ней он начинал питать смутное озлобление. Он упорно молчал и смотрел на лампу.

Наконец Анна Ивановна грустно и безнадежно вздохнула и встала.

– Ну, пойдем ужинать.

Но Паша знал, что она так не уйдет и что надо солгать.

– Что же ты, Паша... выдержишь? – с усилием и страхом спросила наконец Анна Ивановна.

Раздражение вспыхнуло в душе Паши до того, что он едва не закричал: «Да оставьте меня в покое! Почему я знаю!...»

Но, увидев большие ласковые глаза с выражением тревоги и любви, вдруг почувствовал такую нежность и жалость к ней, что встал, обнял ее за талию и, краснея в полусумраке, сказал притворно-смелым голосом:

– Выдержу! Пойдем, мама, ужинать... моя хорошая...

И он прижался к ней с чувством безотчетного умиления. Анна Ивановна с тревогой, пытливым взглядом посмотрела на него, вздохнула и ненадолго успокоилась.

За ужином Паша был возбужден и много смеялся, остря над сестрами; но когда вернулся в свою комнату, разделся и лег, потушив лампу, то сначала тревога, а потом и прежнее озлобление вернулись к нему с удвоенной силой и не давали ему спать. Он смотрел в темноту воспаленными круглыми глазами и чувствовал ненависть ко всему свету и жалость к себе...

Когда он наконец заснул, ему снились деревья, солнечный свет, знакомые лица и много чего-то светлого и радостного.

V

Утром Паша Туманов встал очень рано и сейчас же вспомнил, что надо идти на экзамен. Его обдало холодом, и сердце неприятно и тоскливо сжалось.

Паша долго и порывисто, то торопясь, то без надобности копаясь, оделся, умылся и вышел в столовую, где блестел холодный, только что вымытый пол и на столе, покрытом свежеею скатертью с залежавшимися складками, стоял чистый шумящий самовар.

Сестры еще спали, но Анна Ивановна уже сидела за самоваром и улыбнулась Паше робкой и тревожно-вопросительной улыбкой.

Паша тоже улыбнулся, но не мог смотреть матери в глаза и уткнулся в свой стакан.

– Поздно уже, Паша, – сказала Анна Ивановна. Паша неприятно поморщился.

– Еще половина девятого, – сказал он.

– Пока дойдешь... – коротко ответила мать, ставя чайник на конфорку самовара.

Эти простые и обыкновенные слова, которые Паша слышал каждый день, теперь раздражали его.

– Поспею, – грубо сказал он, – дайте хоть чаю напиток! Анна Ивановна робко и огорченно на него посмотрела.

– Пей, пей... я так... – виновато сказала она.

Паше было больно, что он огорчил грубым тоном мать, и хотелось извиниться, но, уступая давлению усиливающейся тревоги, он не извинился, а, напротив, насутился, и, приняв обиженный вид, встал, взял ранец, вынул оттуда нужную ему книгу и надел фуражку.

Анна Ивановна смотрела на него из-за самовара, ожидая, что он подойдет, как всегда, за поцелуем и крестом, которым она осеняла сына, куда бы он ни шел. Паша видел это, но чувство озлобления толкало его, и он вышел из комнаты, не подойдя к матери.

Паша Туманов быстро шел по улицам, по которым гремели ломовики, с чувством тяжести и от страха экзамена, и от жалости к матери, которую обидел. Чем ближе он подходил к гимназии, тем больше замедлял шаги, и наконец остановился на мосту и долго смотрел, ничего не понимая, как какой-то старичок в помятой дворянской фуражке, засучив панталоны, стоял по колени в воде и удил рыбу. Пара сапог с рыжими голенищами торчала на гладком прибрежном песке рядом с коробочкой из-под ваксы для червячков и ведерком для рыбы.

Солнце светило ярко, тепло и весело.

Старичок заметил Пашу и несколько раз взглянул на него, улыбаясь, как старому знакомому. Наконец он тронул фуражку и спросил:

– На экзамен идете?

Паша Туманов сделал над собой усилие, чтобы понять, о чем его спрашивают, и ответил не скоро:

– На экзамен.

Старичок кивнул головой.

– По латинскому языку? Знаю... У меня сынишка... может, знаете, Василий Костров, Васька... тоже на экзамен сегодня.

Паша Туманов приподнял шапку и пошел дальше. Старичок пошевелил неодобрительно губами и потащил из воды серебристую плотичку. Потом посмотрел, прищурясь, на солнце и опять закинул удочку. Пойманная рыбка билась в ведерке и разбрызгивала на песок блестящие капельки воды.

Паша Туманов шел и думал, что Костров, Васька Костров, наверное, тоже не выдержит экзамена. Кострова он знал: это был высокий худой юноша, всегда плохо одетый, плохо учившийся и вместе со своим приятелем, Анатолием Дахневским, юрким полячком, постоянно проводивший время в бильярдных, тайком от начальства. Оба они играли мастерски и одевались, да и кормились почти исключительно бильярдной игрой.

Паша Туманов подумал, что и Дахневский, наверное, не выдержит экзамена, и ему стало веселее.

Придя в гимназию, он прошел по чисто подметенному широкому коридору в шестой класс и сейчас же отыскал глазами Кострова и Дахневского, которые сидели на подоконнике и разговаривали. Паша подошел к ним.

– Я ему двадцать очков дам, – спокойно говорил Костров своим глухим баском.

Увидев Пашу Туманова, он подал ему руку и весело спросил:

– Бойтесь? – и добродушно засмеялся.

Но Паше не стало весело. Ему, против ожидания, показался даже противен Костров со своим бесшабашно равнодушным отношением к собственной участи и вечными разговорами о бильярдной игре.

Он не выдержал и спросил почему-то не Кострова, а Дахневского:

– А вы бойтесь?

Тот посмотрел на него с рассеянным удивлением.

– Нет... что же... – неопределенно ответил он и снова обратился к Кострову:

– Видишь ли, у Маслова удар, может быть, и хуже, чем у тебя, да у него терпение дьявольское, он измором возьмет... Двадцати ты ему не дашь!..

– Нет, дам! – уверенно возразил Васька Костров, глядя через Дахневского на Пашу Туманова и чему-то ухмыляясь. Улыбка у него была добрая и немного насмешливая.

– Вы не бойтесь, – сказал он вдруг, – не выдержим, так не выдержим, беда невелика!..

Дахневский внимательно поглядел на Пашу.

– Охота придавать такое значение! – презрительно пожал он плечами.

Но Васька Костров отодвинул его рукой и сказал:

– Оставь... у всякого свои обстоятельства.

Прибежал надзиратель, робкий, торопливый человек, с седенькой подстриженной бороденкой, добрым и ничтожным лицом. Он быстро всунулся в двери, крикнул: «Господа, на экзамен!..» – и исчез, торопливо помахивая рукой.

– Ну-с, «господа», – улыбнулся Васька Костров, вставая и потягиваясь, – пойдем.